

Александр Дорошенко

«Бог увидел красоту нашей Одесской бухты...»

Французский бульвар

До 1902 года он назывался Мало-Фонтанской и Старо-Аркадийской дорогой. Французским он назван в память посещения Николаем II Франции. В Париже тогда был открыт великолепный мост через Сену, названный именем Александра III и носящий это имя до сегодняшнего дня. Что тем французам память о русском царе-миротворце Александре? Но мы в советское время Французский бульвар переименовали в Пролетарский.

*Белый пароход у самой улицы. В него упирается переулок. Красные трубы, голубые звезды, капитаны**

*«Идя по Французскому бульвару по левой его стороне по направлению к 3-й гимназии, вдруг видели вы по левую руку** переулок... В нем были и неуютные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, вместе с тем был этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в этот переулок... Но всегда я спешил куда-то, все спешил! Так и никогда не свернул я в этот переулок. Я думаю, что и до сих пор выглядит он так же...»*

* Илья Ильф. Записные книжки.

** Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Правильнее – по правую руку, но Юрий Карлович вспоминал Город, сидя за своим рабочим столом в Москве. Кроме того, если идешь по Французскому бульвару в сторону Аркадии, то надо идти по правой стороне, а если в обратную сторону – тогда тоже по правой. Это бесспорное правило, и его обсуждать не следует! (Прим. автора)

Там таких узких и немного извилистых переулков, идя по Французскому бульвару по левой его стороне, много. Теперь они выглядят чище, на них выходят боковые стороны роскошных особняков нуворишей, поэтому они сплошь глядят заборами, и это не провалившиеся заборы, но надежные и высокие крепостные стены глухих оград. И ограды эти, в отличие от старых времен, теперь непрозрачны. Неважно, важно то, что вдали, в их самом конце, с Французского бульвара по-прежнему и всегда видна синева моря. Переулки эти заканчиваются высоким и крутым обрывом, теперь густо поросшим всякой зеленью и деревьями, там далеко и глубоко внизу песчаная полоса, которую неумоимо облизывает море. Выйдя на такой обрыв из глухого и узкого туннеля, ты внезапно оказываешься на галерее театра, округлость которого рождена заливом, а чашей сцены служит море. Главное в этом театре простор и ветер с моря, удивлением поражающий тебя после застоявшегося воздуха переулка. И пьеса, которая здесь представляется, – это могучий текст и ничем не сдерживаемое действие... идет она без антрактов, действие ее не кончается при твоей жизни, а текст суров и чудесен. Эта пьеса идет и тогда, когда ты вдалеке от сцены, в глубине Города, или в дороге. Никогда не забывай – тебе место в этом театре дано бессрочно. Поэтому в эти переулки сворачивать вовсе не надо. Самое важное, что они могут дать тебе, неторопливо идущему Французским бульваром, – синеву моря в конце этого туннеля из дачных стен. И уверенность, что ты всегда еще успеешь в него, этот переулок, свернуть.

Где-то сразу после Пироговской ты странным и внезапным откровением обнаруживаешь новое свое состояние – закончился Город, и началось таинство светотени и бьющейся в берег морской волны, невидимой, но ощутимой. Ты здесь иной.

Здесь сохранилась великолепная стремительная брусчатка. Узкая серая лента реки стремительно течет в широких берегах, и в нее глядятся дворцы. Как и в Венеции, здесь сильно все обветшало в прошедшем множестве лет. Река, как и положено, ограждена решетками – ведь она может выйти из берегов!

Решетки эти мечта и грезы, переведенные в металл и камень, и поэтому они живые, и живут, изменяясь, как мечталось создате-

лям. Они, как выведенные на парад гвардейские полки, и у каждого свой строй и свой наряд:

Здесь стоят по квадрату
В ожиданье полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Александр Галич. Петербургский романс

Только за плечами у них уже ни Сената, ни Синода, ни тех, кто их сюда вывел, а новые командиры уже столетие как о них позабыли, и не знают солдаты, кого приветствовать и от кого защищать.

Навсегда захлопнулись створки кованых ажурных ворот, и даже дорога за ними, на которую они когда-то открывались, чтобы въехала карета или вошли люди, даже дороги этой уже стерлись следы. Ограда здесь идет широкой дугой, в ее центре проездные ворота, и виден против них парадный вход дома. Понятно, что была здесь дорога и вела она к этому входу, перед которым могла развернуться карета, – но потеряны навсегда следы дороги. А новые владельцы зачем-то стали ходить в обход, минуя ясный для людей путь, – может быть, они чего-то боялись и ходили так, чтобы остаться навсегда незамеченными? Странные люди...

Осталась застывшая в камне река, решетки ограждений еще стоят, когда-то так надежно поставленные здесь на века, и время с ними справиться не смогло. Другое дело люди, они во многих местах уже выломали решетки и таким их заменили, пластинчато-сварным, убогим необычайно. Творчество требует великого напряжения сил души, и нужен к тому же талант, и как создать подобную красоту было непросто, так и такое уродство создать нужен был особый талант и склонность души!

Есть люди, лишённые чувства красоты, и это опасные люди. Они живут среди нас, притворяясь во всем людьми, но потеря этого чувства сродни преступленью – и ведет к деградации качества человека! У них чутьё на красоту и ненависть к ней.

А была там дача Маразли (в советский период санаторий Чкалова). Остались оранжерея и парк. В нем было множество мраморных скульптур, как в Летнем питерском саду. Их после революции разбросали по городским площадям, для культурного роста народных масс, и поэтому большая часть их погибла, и лишь несколько, замученных временем и людьми, калекami продолжают жить в Городе.

А вместо них поставили там стоять человека в зимнем полушубке с меховым воротником и в унтах – Чкалова, на самом летнем солнцепеке. Зимой ему тепло, но там безлюдные аллеи, а к лету появляются курортники, и ему вновь приходится потеть. Хорошая тема для курортной скульптуры. Поставили бы его в плавках и с пропеллером – хоть на один сезон!

В этом месте бульвар делает поворот.

Когда спустя время, сломав старую решетку и сдав ее в утильсырье (для роста благосостояния народа), решили вновь обнести санаторий решеткой, то ведь напротив, через дорогу глядя, могли они рассмотреть решетку ботанического сада, как идет она нескончаемой напряженной волной. Как же они это сумели: видеть такое – и такое сделать?!

За эти решетки лучше не заглядывать. Просто надо идти и идти в тени деревьев, и наблюдать, как солнечный лучик, самый-самый первый, весело играет с решеткой, пересчитывая ее стерженьки-струны, перескакивая с одного на другой, – так веселый мальчишка бежит домой из школы, он бежит вдоль решетки и ведет палкой по ее стержням, ударяя по ним, как по клавишам рояля, и поют эти кла-



виши, нисколько на него не обижаясь. У каждой решетки своя мелодия, замечали ли вы это в детстве, когда бежали с ней рядом?

Каменная ограда – арочная стена, над арками карниз, а в нем, как пешки под командой офицеров, поротно стоят балясинки, и над каждой аркой голова рычащего льва. Когда-то это были мощные красавцы львы, огненногривые, саблезубые, и прохожие обходили их стороной, чуть опасаясь... Сегодня они постарели, утратили глаза и зубы и уже не рычат по утрам. У них закрыты теперь глаза...

Дорога над морем

Когда Бог нарисовал дугу Одесского залива, Он вовсе не обрисовывал кромку живого и подвижного моря, но море под Его творящей рукой следовало красоте Одесской бухты, береговой линии нашей души!

Он просто не смог удержаться, Бог, увидев красоту нашей Одесской бухты.

Чувство странное, это как бы иное пространство, неведомое, завлекающее, чтобы вовлечь, пойти там, зачарованным, даже зная, что назад уже не вернешься...

Фотография совершает чудо, любая, любого качества, умелая или не очень, – она делает вырез, она вырезает прямоугольник видимого мира, и мир преобразуется. Твой взгляд рассеивался, ты видел мир широким обезличивающим кругом, но вот щелчок камеры – и ты вместо леса деревьев видишь дерево, и впервые его узнаешь, понимая, что оно особо, и ни на какие деревья оно не похоже, ты видишь его неповторимое лицо, рисунок ветвей, полных живой жизни, и даже листик, выхваченный крупным масштабом, становится единственным из всех когда-либо на планете Земля живших листьев – у него особая форма, и жилки расположены особо, и он по-своему ведет себя на морском ветру.

Возьми два рядом живущих листика, взглядишь, и ты изумишься особости и неповторимости мира, его фантастическому многообразию!



Дом на Французском бульваре

Мне страшно, что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не замечаю, что они различны,
что каждая живет однажды.
Мне страшно, что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не вижу, что они усердно
стараются быть похожими.
Я вижу искаженный мир,
я слышу шепот заглушенных лир...

Мы выйдем с собой погулять в лес
для рассмотрения ничтожных листьев,
мне жалко, что на этих листьях
я не увижу незаметных слов,
называющихся случай,
называющихся бессмертие,
называющихся вид основ*

Можешь продолжить – ляг на траву под этим деревом и вглядись в пробегающего муравья, и дождись другого: они непохожи – всем, не только возрастом и размером, но побежкой, но характером, – и там, где один пробежал мимо, второй остановится рассмотреть и подумать.

Это открытие мира, настоящее, чему бы тебя ни учили в школах и в книгах. Теперь ты обрел правильное видение мира. Только будь осторожен – не поднимай с этой целью глаза на людей, они неотличимы!

Когда в приморском городке
среди ночи пасмурной со скуки
окно раскроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,

* Александр Введенский.

и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире...

Владимир Набоков. Тихий шум

Ах, это так верно, именно море открывает огромный и спокойный мир. Он лежит и покоится, как на ладони Бога, как в первые Дни Творения, когда еще только-только Бог разъединил первоначально единую материю Бытия, когда вот так заискрилось и засверкало море, удивляя и вызывая зависть у родственных космических пространств...

Шум этот тихий и мощный.

Это говор, рокот, это язык, которому мы учились в детстве...

От Ланжерона до Аркадии над морем идет обольстительная дорога.

Слева море, оно теряется и находится в просвете деревьев.

Справа крутизна высокого одесского берегового откоса, на котором покоится городское плато.

Это уцелевшее – когда-то в Эдеме все дороги были такими, и только у нас сохранилась такая дорога!

Счастливая Аркадия

Et ego in Arcadia fui

Детство мое прошло в счастливой Аркадии, где у меня, мальчишки, не было ни забот, ни печалей.*

Это красивая фотооткрытка, подлинный снимок-слепок, просто раскрашенная фотография, в живые цвета. Но чувство странное нежизненности, нарисованности, и даже тень дерева, всегда

* Про эту самую Аркадию существовало в античные времена предание, что царил там «золотой век», жили там счастливые люди, без труда и забот, в счастливой невинности, как мирные пастухи и пастушки. Потом, уже в XVI веке, возникла «пастушеская поэзия», а позже всякие пьесы с танцами, особенно во Франции, а на самом деле это было у нас, в конце линии 16-го номера трамвая, и там оно сохранилось до времен моего детства.

подлинное отображение живого мира, здесь нарисована, она – неживая тень, просто, пролившийся недосмотр сгусток чернил.

Лет сорок спустя я впервые ступлю на эти необитаемые берега – впереди мать и отец с пляжными сумками, и я, поотставший, удивленный этой встречей, замороженный притворным спокойствием и тишиной моря, чувствующий его непростой и опасный характер и густую непроходимую зелень этих крутых берегов. Так Робинзон рассматривал новую свою родину, которую, как только смог, так и бросил, но я остался здесь навсегда, навечно, – с любовью!

Лень золотистая, солнечная, лень, которая закроет человеку глаза, разбросает ему, как бессильному, руки и ноги, погасит мысль и наведет на лицо бессознательно-блаженную улыбку. Лежишь, смотришь полузакрытыми глазами, думаешь:

«Господи! Неужели это моя нога такая длинная, такая черная. Как быть, как жить с такой ногой? И с чего она такая стала?»

Но шевельнуться нельзя. И вдруг нога сама медленно вытягивается, и к ней примыкает другая, такая же, и обе медленно скользят в воду. Слава богу, это не мои ноги!

Тэффи. Море и солнце

Аркадийская дорога вела через Ботанический сад в долину «Аркадия». Прошли десятилетия, и мы утратили это правильное слово – долина, – оставив в пользовании утилитарное и убогое понятие – пляж.

Пляжиться – это значит лежать, бесстыдно раскинувшись на песке, под сжигающими лучами солнца, переворачиваясь с боку на бок, с живота на спину, поджаривая себя, как это делают с бараниной шашлыка, присматриваясь к равномерности поджарки, принимающая, готова ли к подаче. Вскакивая, бежать к морской волне у береговой кромки, окунуться, чтобы вновь улечься на раскаленный песок пляжа. Как странно изменилось представление о красоте – наши бабушки знали, как красива нежная белизна их лица и рук, и ходили под зонтиками от солнца. Лежать, потеряв всякую способность думать, утратив разум, уподобясь болотной жабе, выпрыгнувшей на солнечное пятно



Старая Аркадия

и окаменевшей в физиологическом приступе эйфории, сродни исполняемому прилюдно половому акту...

Да уж ладно, чего там ворчать, я ведь хорошо помню, как, далеко уплыв в море и вернувшись с руками и ногами, от усталости сжатыми судорогой мышц, еще дрожащими от напряжения, промерзший до кости в морской холодной воде, бросишься бывало на открытый раскаленный песок, вытрешь только кончики пальцев, осторожно достанешь из пачки сигарету и блаженно вдохнешь первый глоток сигаретного дыма... И будешь так долго лежать, согреваясь, и прогреваясь, ворочаясь в песке с боку на бок, как чашечка кофе, готовящаяся в турочке, зарывшейся в глубину раскаленного песка.

Там есть праздничная залитая утренним солнцем аллея, ею начинается Аркадия, она справа имеет глубокую балку, а слева крутизну заросших склонов, падающих от Гагаринского плато. На этой аллее во времена моего детства росли маленькие пальмы в кадках, их убирали зимой в тепло, а с наступлением теплых



Зимний ресторан в Аркадии. Почтовая открытка

дней вновь выставляли расти на зелень газона. Стояли по сторонам этой аллеи скамейки с чугунными основаниями, сидели на них томные одесские матроны и наблюдали идущих к морю и пляжам. Говорили они о морских теплых ваннах, обсуждали проходящих по аллее дам и курили (тогда многие дамы курили, и часто курили именно папиросы, это было следствием войны... и по этой причине дамы имели хрипловатые низкие голоса, и бескомпромиссную манеру выражать свои мысли имели, если требовалось назвать вещи своими именами... и они эти имена хорошо знали, и сказать умели немногословно, но вполне адресату хватало – для вразумленья).

Утреннее солнце заботливо согревало листья пальм, ветерок с моря еще был холодноват, все было на этой аллее так празднично, так нарядно, так весело щемило сердце...

Было странное и позабытое нынче слово – курорт – оно имело фактуру молодого зеленого листа, только раскрывшегося, еще нарядно рельефного, оно имело цвета изумруда и золота, солнце и молодая утренняя зелень соседствовали в нем, летние платья женщин и голоса людей здесь, на этой особой земле Курорта, звучали иначе, желание счастья наполняло эти звенящие жизненной силой голоса. На стенах висели рекламные курортные щиты с птичьими крыльями

самолетов, несущих счастливых людей к южным морям в обрамлении зелени. Люди этой земли имели красивую легкость походки...

Как странно, я помню, как не многое совсем было нужно в те годы для счастья, или совсем ничего не было нужно, а оно, счастье, было везде и вокруг рядом, смешными солнечными зайчиками оно кувыркалось в воздухе, и зайчики эти были многоцветны, и переливались веселыми красками молодости, смеялись колокольчики молодых голосов – всюду – в траве и в листьях деревьев, на пушистом носу пробегающей мимо собачки, и кувырком отскакивали от ласковой земли к мягким перинам облаков (как простыни и наволочки, выстиранные до хрустящей белизны, они были вывешены в ясной высоте неба и пахли свежестью и невинностью, и не пугали дождем – их скоро снимут сухими и свернут, положив в бельевой шкаф, а небо к полудню станет яростно жгучим).

Было в те года маловато денег и вещей было не много, и даже часто одинаковыми на всех были эти вещи, и новыми они не были вовсе, а колокольчики так весело звенели, так легко и неугасимо. Как странно и не объяснимо никакой логикой то, что случилось дальше, куда-то они, эти колокольчики, вдруг разлетелись, и вроде бы основания для веселья стало много больше – еды и вещей, и приспособлений всяких для неостановимого счастья, – а вот поди ж ты!

(Во все времена человечества женщина создавала красоту мира – лишенная понимания его устройства, вовсе не склонная к анализу, интуитивно враждебная всем и всяким искусственным построениям теорий, она создавала красоту, в которой так мы нуждались, пользуясь мелочью и ерундой материала, и мир приобретал таинственную прелесть, слова обыденные и простые смыслом приобретали многомерность и насыщенность чувством... и мир становился прекрасным, пока мы второпях и наспех его не разрушали, а потом горестно удивлялись обыденности и примитивности обломков.)

*Из чего можно сделать прерию – / Из пчелы и цветочка клевера –
/ Одной пчелы, одного цветка – / Но, если там не растут цветы, –
/ Хватит одной мечты.**

* Эмили Дикинсон.

А шли по этой Аркадийской аллее, сойдя с трамвая, мои молодые родители, мама и папа, и рядом с ними мы с братиком. Шли к морю, поворачивая влево, в самый дальний угол аркадийского пляжа (там песок ограничивали скалы, под которыми бегали проворные мокрые и сердитые крабы), и, накупавшись, мама всегда перемещалась в тень, в Аркадийскую балку, где на зеленых склонах мы расстилали широкую подстилку, ели взятые из дому бутерброды, читала мама нам книжки, ловили мы бабочек. Склоны этой балки в сторону аллеи были укреплены плитами ракушечника.

Я был таким маленьким, что самостоятельный подъем по этому крутому склону представлялся мне отчаянным приключением. Я в одиночку хаживал тогда на ящерицу. Маленькое и незащищенное чудовище, покрытое панцирной чешуей, на коротких стремительных лапах, с головой дракона, с картин старых мастеров, еще помнивших, как это было. Иной, древней формы и всех обольстительных цветов земли, – а нам досталась блевотина телесного цвета, несуразность и неустойчивость двуногого тела с хилой головкой, посаженной на самом краю, просто случайность оставшихся после разбора бросовых форм, оскорбительный недосмотр.

(Я поверил бы Лютеру, что мы не столько промысел Божий, сколько его попустительство и недосмотр, если бы не они, живущие рядом, – порхающие бабочки и планирующие стрекозы, изумрудная с бирюзой ящерица и элегантная сорока, – глядя на них, я успокаиваюсь – они доказательство и оправдание нашей земной жизни:

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную... **

** Осип Мандельштам. 8 февраля, 1937. Воронеж. Какое острое чувство уходящей жизни и желание на самом ее краю удержаться, слиться с ней, раство-

О, если б и меня! – но там, в детстве, когда я, затаив дыхание, подкрадывался с сачком в руке к махаону, я, не зная слов и определений, чувствовал восторженным сердцем, что в нем, в этом фантастическом махаоне, в строении его крыл и нежности цветковых переходов, в изяществе хвостового оперенья – заключено все величие Бога, и в самый последний момент вдруг что-то мешало мне, заставляя дрогнуть занесенную руку, и улетал махаон, но теперь я знаю причину – движение земной оси отклоняло мне руку...)

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду

Анна Ахматова

Аллея завершалась над морем небольшой площадью, вправо от нее ведет мостик, перекинутый через балку. На площади этой стоит ресторан Сигала (Курзал)*, а теперь «Южная Пальмира», в русском модерне, – характерные овалы больших оконных рам, угловые башенки, кованая решетка по краю крыши, столики на веранде, снежные скатерти, серебро хрустала. Ветерок, разогнавшись над заливом, хулиганил – он пробежал по скатертям

риться и так остаться. Как тяжело ему было в этом Богом забытом месте и как хотелось жить. Как гениально он сказал обо всем живом, которого мы маленькая часть (**Прим. автора**).

* Первый ресторан с именем «Аркадия» здесь в балке основал Камбье, директор одесского агентства бельгийской конно-железнодорожной, и он же провел сюда новую линию конки, удлинив старую линию маршрута «Преображенская – Большая Арнаутская – Малый Фонтан». В те времена балка была очень красива – ее склоны были покрыты золотистым дроком и сиреневым бессмертником, а по ее дну упрямо бежал к морю ручеек. В моем детстве уже не было этого ручейка, но склоны балки были по-прежнему прекрасны. Так возникло, памятью античного Пелопоннеса, это чудесное имя на наших берегах – Аркадия.

Там, на Западе, во всяких романтических Англиях-Франциях, Аркадия была только в поэмах, на листе бумажном, была поэтической выдумкой, родом из счастливой античности, но только у нас, здесь, в нашем Городе, Аркадия была настоящей, живой, и никакие поэмы сравниться с ее красотой не могли! (**Прим. автора**)

и время от времени гнал по ним волну, продолжением прибрежной волны. Вечером пряталось солнце, тянуло с моря прохладой, зажигались электрические лампы и подкатывали из Города экипажи и в них дамы – в белых летних платьях. Запах сигар, приглушенный женский смех и в минуту тишины шум набегающих на песок волн. И луна над морем, круглая, как медаль, и лунная дорожка вектором на тебя...

В такие вечера веришь в бессмертье, и мы были бессмертны этими вечерами. Шум волн о песок, косоугольный, нарезающий пространство ломтями полет летучей мыши, и в бархатной глубине неба разложены сверкающие точки бриллиантовых звезд.

И женские глаза, в которых все это есть и есть еще что-то, чего мы никогда в торопливости рассмотреть и понять не успеваем, а женщины наши, чтобы нас не пугать, покорно прикрывают веки...

Мы приезжали трамваем, долго идущим из города по Французскому бульвару, а домой часто возвращались на катере, шедшем в порт.

(Вспомнил – там тогда на входе в эту центральную аллею была решетка и стояла будочка для билетов. Копейки стоил вход, но я совершал героический поступок, я обходил эту решетку – родители с братиком шли за билетами, а я поднимался в обход решетки, круто вверх к Гагаринскому плато, метров на десять, и, пробежав густо заросшей тропинкой, спускался вовнутрь Аркадии по старой лестнице с широкими ступенями и встречал родителей героем, уже впереди них, на центральной аллее.)

Большие корабли стояли на рейде высоко в воде, и в акватории порта наш маленький катер проходил у самого борта океанских кораблей –

В тот город заходили корабли,
Большие корабли из океана...

– высились над катером их борта, а в них круглые иллюминаторы, якоря на тяжелых цепях свешивались у носа, и лебедки куда-то тянули и перемещали какие-то грузы из далеких заморских стран...

И уже засыпая в своей молдаванской кровати, я все видел высоченные стены кораблей, идущие в глубину воды могучие цепи и слышал ревущий прощальный звук корабельной трубы, покидающей порт и уходящей в самые дальние страны, где Зверобой пробирается в глухом опасном лесу, и за стволами высоченных деревьев ждет его Большой Змей – Чингачгук, о котором сегодня читала мне мама в Аркадийской балке...

Ах, этот мамин читающий голос, эти неведомые далекие страны, эта счастливая начинающаяся жизнь!

*Сию в Аркадии, пью пиво, лениво смотрю на ласковое море, ничего не делаю – и все тут, как и положено в Аркадии.**

Теперь в этой маленькой Аркадии перестроили все, кроме моря и карабкающихся вверх заросших склонов. На входе в Аркадию, справа от центральной аллеи, над балкой, стоял многоколонный ресторан. Для меня, мальчишки, он был Парфеноном. И его не стало. Там, в Аркадии, теперь каждый шаг разлинеен и поделен, и должен служить наживе, должен работать и приносить деньги. И море теперь можно увидеть в Аркадии, только протиснувшись в узкую щель между рестораном и мусорными бачками. Аркадия теперь – дворцовый фасад ресторанов и зловонные баки с отходами позади них. (Когда-то в Испании, судя по плутовским романам, обедневшие дворяне носили длинные плащи без подкладки, и по этой причине они всегда были плотно закутаны в плащи, чтобы не развеялся на ветру плащ и не выдавал бедность хозяина. Так и эти дворцы ресторанов: они без подкладки, и задняя их сторона – просто подсобка, сарай с мусорными баками и помойными лужами.) На море здесь лучше не смотреть.

Когда-то трамвай, спустившийся от Французского бульвара к Новоаркадийской дороге, бежал среди моря зелени с вкраплением невысоких дач. На самом повороте виднелась стилизованная дачная средневековая башня. У основания Гагаринского пла-

* Про Аркадию, греческую область, существовало предание, что в незапамятные времена там царил золотой век, когда люди не знали ни труда, ни печали. Все это домыслы древнегреческие – какая же радость без печали, и чем насытить жизнь без труда?!

то трамвай делал круг, и здесь открывалась праздничная аллея, ведущая к морю.

Теперь эту зелень смели и по обеим сторонам дороги сплошной стеной поставили многоэтажные пеналы элитного жилья, а на самом повороте, когда-то таком мягком и очаровательном, – стекляшку-магазин, наглуую, громадную, с пустыми глазницами ничего не отражающих стен. Исчезли зеленые склоны плато, и стала еще одна улица муравейного города, расположенного неизвестно где, а внизу, между домами, текут две автореки, море зловонных жуков, злящихся из-за возникающих пробок, упирающихся лбами, клаксонающих и проклинаящих друг друга...

Ничего, это – только начало!

В конце XIX века районы Аркадии и Фонтанов развивались в рамках идеи города-сада. Там было запрещено строительство жилых домов. Это определило их облик надолго, до конца жизни старой империи, но и на все время новой, советской. Теперь у нас, видимо, иные идеи...

Вообще – понятные!

